

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

✧
Хожение
по мукам
✧



✧ РУССКАЯ КЛАССИКА ✧

Русская классика (АСТ)

Алексей Толстой
Хождение по мукам

«ФТМ»

«АСТ»

1922-1941

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Толстой А. Н.

Хождение по мукам / А. Н. Толстой — «ФТМ», «АСТ»,
1922-1941 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-983198-3

«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир. Выдающееся произведение А.Н. Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-983198-3

© Толстой А. Н., 1922-1941
© ФТМ, 1922-1941
© АСТ, 1922-1941

Содержание

Книга первая	6
1	6
2	8
3	12
4	17
5	21
6	28
7	35
8	42
9	47
10	52
11	57
12	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Алексей Толстой

Хождение по мукам

© А.Н. Толстой, наследники, 2011

© ООО «Издательство «АСТ», 2018

Книга первая Сестры

*О Русская земля!
Слово о полку Игореве*

1

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захоластного переулочка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и не радостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, – видя и вникая всему этому, сторонний наблюдатель – благонамеренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору – худую бабу и простоволосую, – сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербург, мол, быть пусту», – за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец – мертвый чиновник. Много таких рассказов ходило по городу.

И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург – лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторосях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни, с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом вникали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся, пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в

свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт – парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не виданной еще роскоши столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно – роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», – и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства и добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздражающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги – верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску своим вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники – новое и непонятное лезло из всех щелей.

2

– ...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что – ее можно кушать? Или она способствует рращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки! Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это – портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием...

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры.

Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик – историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженным черепом, с молодым скуластым и желтым лицом – Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали: откуда и кто такой? – знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин, приехал он из-за границы и выступал неспроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить.

В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», – девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

– ...А вы все еще грезите туманными снами о царствии божием на земле. А *он*, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что *он* все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, *он* проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадилниц, – народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю. Но не называйте это мессианством. Это не

то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью...

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса:

- Пускай говорит!
- Безобразия закрывать человеку рот!
- Это издевательство!
- Тише вы, там, сзади!
- Сами вы тише!

Акундин продолжал:

– ...Русский мужик – точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покуда не лишат его наконец когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса: ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать... Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды – человеческой фантазии. Нет. Мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно. Ибо ваши идеи и ваши сокровища будут без сожаления выброшены в мусорный ящик истории...

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили...

За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком черном сюртуке: худое матовое лицо, брови дугами, под ними, в тених, – огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка – простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

– Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды.

Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы знаем, высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. «Жажду» – вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь, – Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, – в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, – человека в

номер, – в этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная из всех революций – революция Духа.

Акундин холодно проговорил с места:

– Человека в номер – это тоже идеализм.

Вельяминов развел, над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две, средних лет, литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнuto растрепанными волосами – Чирва – критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

– Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

– То же, что и вы, – ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал, глядя еще нежнее:

– Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли – разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот:

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод,
Будем лопать пустоту...

Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, – новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, – и все затрещит, полезет по швам, – очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, извозчики и весело и нагло предлагали выходящим:

– Вот на резвой, ваше сясь!

– Вот по пути, на Пески!

Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил отдельно и холодно:

– Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

– Если не ошибаюсь, – проговорил он, наклоняясь к ней, – мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

– Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студёный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом:

– Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок – вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

– Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

3

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

– Дома никого нет, конечно?

Великий Могол, – так называли горничную Лушу за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо, – глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, – значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас – одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать – себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно.

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, – а их было немало, – кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны – нежно любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, – вся эта чугунная циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда спозаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши и бархатный голос произносил:

«Приветствую тебя, Великий Могол!» – и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера:

– Катюша, – лапку!

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем, кто бывал слишком внимателен, ревновала, – глядела на виноватого злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола – Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.

Щеки у нее действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя – Никанор Юрьевич Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая:

– Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противных!. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды.

Все знакомые, а первая – сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

– Что же это с нами дальше-то будет?

– А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы.

– Уж очень хорошеешь, – что дальше-то будем делать?

Даша строгими, «мохнатыми» глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем.

– Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно – понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками.

– Какие мы рогатые уродились: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин – худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул – глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, – засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала:

«Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше – был он совсем сухой, – закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.

Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина, – он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок, и, не оборачиваясь, глядел на море.

Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой.

С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:

– Даша, мистер Беильс о тебе спрашивается каждый день, – почему ты не играешь?

Даша раскрыла рот – до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина и отчаянно несчастна.

Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды – затягиваться зимою в корсет и суконное платье.

Две недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.

А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, – англичанка, его невеста, – и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.

На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот – второй человек – точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая – и легкая и свежая, как прежде, – но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них – голова закружится.

В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в «Самарканд», к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.

Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром – лекции, в четыре – прогулка с сестрой, вечером – театры, концерты, ужины, люди – ни минуты побыть в тишине.

В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе.

К нему подсели знатоки литературы – два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.

«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, – и люди и искусство. А Россия – падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».

Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.

Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:

– Я плохо переносу общество людей. Позвольте мне уйти.

Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.

После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, – все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».

На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять».

Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, – одни кружевные юбки.

Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, – неожиданно устали ноги, и было грустно.

После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи, – три белых томика, – вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали

– забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.

Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома – гости. Самолюбие ее молчало.

Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение, должно произойти что-то невозможное.

Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения ограду райского сада.

– Да, милостивая государыня, плохо наше дело, – сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.

– Николай Иванович, который час? – крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты.

В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.

В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился наконец Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.

Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.

Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:

– Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

4

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И ко всему Кати не было дома, точно ее и на свете больше не существует.

В первую минуту Даша обмерла, в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела.

Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», – подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него волосатая большая рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, – все, все, все было изуродовано и разбито.

Из-за суконной занавески появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.

Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешано Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.

Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот – сбоку, носа не было совсем, вместо него – треугольная дырка, голова – квадратная, и к ней приклеена тряпка – настоящая материя. Ноги, как поленья – на шарнирах. В руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное было угол, в котором она сидела раскорякой, – глухой и коричневый. Картина называлась «Любовь». Катя называла ее современной Венерой.

«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же – с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел – «чижик».

Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал:

– Этого надо было ожидать.

Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» – ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, – в глазах было темно, так билось сердце, – и выбежала в прихожую.

Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты мехового капора и морщила носик.

Сестре она подставила холодную розовую щеку для поцелуя, но, когда ее никто не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру.

– У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? – спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно милым голосом.

Даша стала глядеть на кожаные калоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски.

У нее дрожал подбородок.

– Нет, ничего не произошло, просто я так.

Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубки, движением голых плеч освободилась от нее, и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаши, она низко наклонилась, говоря:

– Понимаешь, откуда нашла автомобиль, промочила ноги.

Тогда Даша, продолжая глядеть на калоши Николая Ивановича, спросила сурово:

– Катя, где ты была?

– На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу, даже не знаю кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать.

И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила:

– Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит?

Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и была не только не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила.

Но все же с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала:

– Катя!

– Что, миленький?

– Я все знаю.

– Что ты знаешь? Что случилось, ради бога?

Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее снизу вверх.

Даша сказала:

– Николай Иванович мне все открыл.

И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило.

После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом:

– Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?

– Катя, ты знаешь.

– Нет, не знаю.

Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик.

Даша сейчас же опустилась у ее ног.

– Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, – ведь это все неправда? – И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей духами руки с синеватыми, как ручейки, жилками.

– Ну конечно, неправда, – ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, – а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные, носик распухнет.

Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам.

– Слушай, я дура! – прошептала Даша в ее грудь.

В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета:

– Она лжет!

Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала:

– Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, – едва на ногах стою.

Она проводила Дашу до ее комнаты, рассеянно поцеловала, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета:

– Николай, отвори, пожалуйста.

На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачи-

ваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»).

Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет.

Она села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, шелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клочок волос на макушке.

– Я не понимаю только одного, – сказала она, – ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать.

Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов:

– У тебя хватает развязности называть это моим настроением?

– Не понимаю!

– Превосходно! Ты не понимаешь? Ну, а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь?

Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное лицо мужа, она проговорила тихо:

– С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно?

– Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности.

– Какие подробности?

– Не лги мне в глаза.

– Ах, вот ты о чем. – Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза. – Давеча я тебе сказала что-то такое... Я и забыла совсем.

– Я хочу знать – с кем это произошло?

– А я не знаю.

– Еще раз прошу не лгать...

– А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла.

Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить – отвести душу.

Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых обязанностях женщины – жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка», – поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше кровью, – тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке», Великому Моголу, и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной».

Словом, Николай Иванович отвел душу.

Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала:

– Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины, – поднялась и ушла в спальню.

Но Николай Иванович теперь даже и не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, посланную на кожаном диване.

«Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», – подумал он, открывая книгу, чтобы для успокоения почитать на свои грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилося сердце. «Плачет, – подумал он, – ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего».

И когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезть из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул.

Даша, раздевшись в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо! Теперь ни о чем не думать, спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный сладкий сон покрыл ее, и вдруг явственно в памяти раздался Катин голос: «Ну конечно, неправда». Даша открыла глаза. «Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила – правда или неправда. Она же ответила так, точно отлично понимала, о чем идет речь». Сознание, как иглою, прокололо все тело: «Катя меня обманула!» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела: да, действительно обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, нагав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти – влюбиться. Но ведь она преступница. Ничего, ничего не понимаю.

Даша была взволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может ни осудить Катю, ни понять того, что она сделала.

Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла, и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша, – пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это – мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ.

5

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом этаже, помещалась так называемая «Центральная станция по борьбе с бытом», в квартире инженера Ивана Ильича Телегина.

Телегин снял эту квартиру под «обжитье» на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселились жильцы «тоже холостые и непременно веселые». Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель, Сергей Сергеевич Сапожков.

Это были – студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе занятия по вкусу.

Жильцы вставали поздно, когда Телегин приходил с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости, затем – в редакцию. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ – работать, – готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным.

Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти длинных полос, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом украинские песни, или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, – засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка, с близорукими, точно нарисованными глазами и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы.

Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе, и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала – нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? способен ли он, например, убить? не ощущает ли в себе «самопровокации»? – это свойство она считала признаком всякого замечательного человека.

Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов. В общем, это была неудовлетворенная девушка и все ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться у серого от дождя окошка.

Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях.

Однажды, на рождестве, Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее:

– Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы – новые Колумбы! Мы – гениальные возбудители! Мы – семена нового человечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, общественные приличия, браки – отменяются. Мы этого требуем. Человек – мужчина и женщина – должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины,

вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!...»

Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием: «Блюдо богов», деньги на который отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев – всего три тысячи.

Так была создана «Центральная станция по борьбе с бытом», название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман дали требуемую сумму – три тысячи. Были заказаны бланки, на оберточной бумаге, с непонятной надписью – «Центрофуга», и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и к сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец убрали в комнате все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой.

После выхода первого номера в городе заговорили о «Блуде богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Чирва растерялся – в «Блуде богов» его называли сволочью. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписала на журнал на весь год и решила устроить вторник с футуристами.

Ужинать к Смоковниковым был послан от «Центральной станции» Сергей Сергеевич Сапожков. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумаге, взятом напрокат в театральной парикмахерской, из пьесы «Манон Леско». Он подчеркнуто много ел за ужином, пронзительно, так что самому было противно, смеялся, глядя на Чирву, обозвал критиков «шакалами, питающимися падалью». Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего.

После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Дашу удивило, что в прихожей пахнет капустой. Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту кощунства, спросил:

– Скажите, вы какими духами душились? Замечательно приятные духи.

Затем удивила Дашу «доморощенность» всего этого, так на шумевшего дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы, – словом, все, что составляло портрет Василия Веняминовича Валета, молча стоявшего здесь же с нарисованными зигзагами на щеках. Правда, хозяева и гости, – а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, – сидели на неоструганных досках, положенных на обрубки дерева (дар Телегина). Правда, читались преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про «плевки в старого небесного сифилитика», про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте, с бедером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов.

– И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие.

У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза, должно быть, умные и твердые, когда нужно.

Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там на столе стояло блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал грязные тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянувшись, ища тряпку,

вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее «деликатный». Все это он делал не спеша, большими сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора:

– Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева. Были конфеты, но съедены, хотя, – он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость, – если позволите? – и вытащил из жилетного кармана две карамельки в бумажках.

«С таким не пропадешь», – подумала Даша и тоже, чтобы ему было приятно, сказала:

– Как раз мои любимые карамельки.

Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчицицу. На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб.

У Даши губы сами растягивались в улыбку: этот большой красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчицицу. У него где-нибудь в Арзамасе, – так ей показалось, – живет чистенькая старушка мать и пишет оттуда строгие письма насчет его «постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам», насчет того, что только «скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей». И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку.

– Вы где служите? – спросила она.

Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку и широко улыбнулся.

– На Балтийском заводе.

– Интересная работа у вас?

– Не знаю. По-моему, всякая работа интересна.

– Мне кажется, рабочие должны вас очень любить.

– Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения.

– Скажите, – вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате?

Морщины сошли со лба Ивана Ильича, он громко рассмеялся.

– Мальчишки. Хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь... На следующий день вспомнишь – умора.

– А мне эти кошунства очень не понравились, – сказала Даша строго, – это просто нечистоплотно.

Он с удивлением посмотрел ей в глаза. Она подтвердила – «очень не понравилось».

– Разумеется, виноват прежде всего я сам, – проговорил Иван Ильич раздумчиво, – я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности... Ужасно, что вам все это было так неприятно.

Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку.

– Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, – вы хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда.

Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными, – до того были потрясаяще прекрасны: серые, большие, холодноватые. Иван Ильич в величайшем смущении сгибал и разгибал чайную ложку.

На его счастье, в столовую вошла Елизавета Киевна, – на ней была накинута турецкая шаль и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даше она подала длинную мягкую руку, представилась: «Расторгуева», – села и сказала:

– О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо. Вас корбило. Это хорошо.

– Лиза, хотите холодного чаю? – поспешно спросил Иван Ильич.

– Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю... Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я – никто. Ничтожество. Бездарна и порочна.

Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна с улыбкой разглядывала ее.

– Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это сами знаете. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, – придет самец, народите ему детей, потом умрете. Скука.

У Даши от обиды задрожали губы.

– Я и не собираюсь быть необыкновенной, – ответила она, – и не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь.

Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими.

– Я же вас предупредила, что я ничтожная как человек и омерзительная как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин.

– Черт знает, что вы говорите, Лиза, – пробормотал он, не поднимая головы.

– Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. – И она опять обратилась к Даше: – Вы переживали когда-нибудь бурю? Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: «Едем...» От злости он поехал со мной... Нас понесло в открытое море... Вот было весело. Чертовски весело. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему...

– Слушайте, Лиза, – сказал Телегин, морща губы и нос, – вы врете. Ничего этого не было, я знаю.

Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь.

Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчицьи санки, – извозчик был старичок, и лошадка его занесена снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Там, у стола, все так же – лицом в руки – сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась:

– Лиза.

Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову.

– Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?

– Влюбился, – негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными глазами, – сразу вижу. Вот скука.

– Это совершенная неправда. – Телегин побагровел. – Неправда.

– Ну, виновата. – Она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль.

Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, проговорил точно с величайшим изумлением:

– Чепуха. Вот ерунда-то!

Для Даши эта встреча была как одна из многих, – встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, – будь даже это человеческое лицо, – видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродство поражает фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет.

Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева.

А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец!

Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, – в зрелую девицу, Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице в четыре часа; но Марусе Хвоевой было не до шуток, – Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купанья, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног».

Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку. Тем дело и кончилось.

Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свидание в анатомический театр, но как-то, само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство.

Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, – прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств.

Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом появлялась худенькая бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк.

Там, в парке, Иван Ильич в тихие сумерки разговорился с ней, – и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали.

Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала, – кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях и даже о том, что иногда рассчитывает, – вдруг он полюбит ее, сойдется, отвезет в Крым.

Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, – какой он эгоист-, бессердечный и плохой человек.

Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровею, вы женитесь на мне?» – «Честное слово, женюсь», – ответил Иван Ильич.

Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую или в облако.

К Даше было какое-то особенное, незнакомое ему чувство, притом малопонятное, потому что и причин-то к нему было мало – несколько минут разговора да стул в углу комнаты.

Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал:

«Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор – как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. Надо подтянуться, пока не поздно».

В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, – а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову – небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, – в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул хорьковую шубу и сощурился от солнца.

«На свете жить все-таки недурно».

И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.

Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.

Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека, потрошителя животов», – прочел он и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.

А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась, все так же – с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу.

– Дарья Дмитриевна, какой день чудесный.

Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза, – в них от света блеснули зеленые точки, – улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески.

– Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас... Правда, правда, думала. – Даша кивнула головой, и на шапочке закивали ромашки.

– У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный. И день-то какой... – Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку.

Даша спросила:

– Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?

Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени.

– Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Отвечайте, не раздумывая, а прямо, – как спрошу, так и ответьте.

Лицо ее было озабоченно и брови сдвинуты.

– Раньше мне казалось так, – она провела рукой по воздуху, – есть воры, лгунишки, убийцы... Они существуют где-то в стороне, так же, как змеи, пауки, мыши. А люди, все люди, –

может быть, со слабостями, с чудачествами, но все – добрые и ясные... Вон, видите – идет барышня, – ну вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?

– Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна...

– Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту... Я вижу, – человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешить, грешить ужасно при этом. Вы не подумайте, – не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь, – Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул, – человек этот прелюбодей. Женщина – замужняя. Значит, можно? Я спрашиваю, Иван Ильич.

– Нет, нет, нельзя.

– Почему нельзя?

– Этого сейчас сказать не могу, но чувствую, что нельзя.

– А вы думаете, я сама этого не чувствую? С двух часов брожу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные люди, И я должна быть с ними, вы понимаете?

– Нет, не понимаю, – быстро ответил он.

– Нет, должна. Ах, какая тоска у меня. Значит, просто я – девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых.

Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту коробку от папирос, с картинкой – зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более как «добрый, славный Иван Ильич».

– Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. – Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.

6

Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении: пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные.

Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала? Вот только бант совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала: «Хоть и беспокойная, но не плохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались, – она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят».

В банте оказалась засунутой записка на толстой бумаге, два слова незнакомым крупным почерком: «Любите любовь». С обратной стороны: «Цветоводство Ницца». Значит, там, в магазине, кто-то и написал: «Любите любовь». Даша с корзинкой в руках вышла в коридор и крикнула:

– Могол, кто мне принес эти цветы?

Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула, – эти вещи ее ни с какой стороны не касались.

– Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить.

– От кого, он сказал?

– Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне.

Даша вернулась к себе и стала у окна. Сквозь стекла был виден закат, – слева, из-за кирпичной стены соседнего дома, он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу во всю ее длину, вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близо прокрякал автомобиль, и было видно, как покатило вдоль улицы в вечернюю мглу.

В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала во что-то, как паутина, – тончайшее и соблазнительное. Это «что-то» было во влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», жеманных и волнующих, и в весеннем очаровании этого вечера.

И вдруг ее сердце сильно и часто забилося. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она внешне, всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой, такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах.

Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела музыка: «Я живу, люблю. Радость, жизнь, весь свет – мои, мои, мои!»

– Послушайте, моя милая, – вслух проговорила Даша, открывая глаза, – вы – девственница, друг мой, у вас просто несносный характер...

Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша, обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели.

В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту «трагедию» двух ослепших людей. Заговорить первая с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая

Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-демократической партии, – так называемых большевиков, – собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам, – словом, у нее не было ни минуты свободной.

«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», – подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики.

Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:

– Давно вернулась?

Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую, Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:

– Почему ты красная?

Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.

Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, – множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. «Оказывается, что Керенский опять проворонил процесс и сидит без денег; встретила его жену, плачется, – очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то, весна. А день какой сегодня? Все бродят, как пьяные, по улицам. Да, еще новость, – встретила Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях – повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к Пивато, и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую революцию».

Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах.

– Катя, – сказала она внезапно, – понимаешь, – я такая, какая есть, никому не нужна. – Екатерина Дмитриевна, с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. – Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей.

– Не понимаю тебя, – сказала Екатерина Дмитриевна.

Даша поглядела на ее спину и вздохнула.

– Все нехороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого, я и тебя осуждаю, Катя.

– За что? – не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.

– Нет, ты пойми. Хожу с задраным носом, – вот и все достоинства. Просто – это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь, мне очень нравится один человек.

Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.

– Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе. – Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула.

– Видишь ли, Катя, все это не так просто... По-моему, – я не люблю его.

– Если нравится, – полюбишь.

– В том-то и дело, что он мне не нравится.

Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши.

– Ты же только что сказала, что нравится... Вот, действительно...

– Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке, вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой... Злилась, пряталась, по ночам ревела. А этот... Я даже не знаю, – он ли это... Нет, он, он, он... Смутил меня... И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась... Войди он сейчас ко мне в комнату, – не пошевелюсь... делай, что хочешь...

– Даша, что ты говоришь?

Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды.

– Даша, как его зовут?

– Алексей Алексеевич Бессонов.

Тогда Катя пересела на стул, рядом, положила руку на горло и сидела не двигаясь. Даша не видела ее лица, – оно все было в тени, – но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.

«Ну, и тем лучше», – отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто.

– Почему, скажи, пожалуйста, другие все могут, а я не могу? Два года слышу про шесть-сот шестьдесят шесть соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз целовалась с гимназистом на катке.

Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени.

– Бессонов очень дурной человек, – проговорила она, – он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?

– Да.

– Он всю тебя сломает.

– Ну, что же теперь поделаешь.

– Я не хочу этого. Пусть лучше другие... Но не ты, не ты, милочка.

– Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой, – сказала Даша, – чем же Бессонов плох, скажи?

– Не могу сказать... Не знаю... Но я содрогаюсь, когда думаю о нем.

– А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко?

– Никогда... Ненавижу!.. Храни тебя господь от него.

– Вот видишь, Катюша... Теперь уж я наверно попаду к нему в сети.

– О чем ты говоришь?... Мы с ума сошли обе.

Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать: «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша». Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже:

– Прости, прости меня... Даша, прости меня!

Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать, – о чем она говорит, за что ее простить? Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки.

За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал:

– Так-с. А нельзя ли и мне быть посвященным в причину сих слез?

– Причина слез – мое гнусное настроение, – сейчас же ответила Даша, – успокойся, пожалуйста, и без тебя понимаю, что не стою мизинчика твоей супруги.

В конце обеда, к кофе, пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличек стал звонить в гараж, Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:

– В конце концов от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с. – Но и его взяли в автомобиль вместе с другими.

В «Северной Пальмире» было полно народа и шумно, огромная зала в подвале ярко залита белым светом хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики на них – зеленые, лиловые и седые, пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопами оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользкие в темноте лакеи, испитой человек с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб, – все это множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир.

Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот, перед запотевшим ведром и кожей от лангуста, сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет и все люди умрут, – стоит ли радоваться чему-нибудь.

Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Даша подумала: «Почему Катя сказала – прости, прости?»

И вдруг точно обручем стиснуло голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что – «неужели», и поглядела на сестру.

Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась.

Часов около двух начался спор – куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что как все, так и он, а «все» решили ехать «дальше».

И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол, и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папироской во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточенно и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколота любопытством и взволнованная.

Когда вышли на улицу, – неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь!» К тротуару подкатил автомобиль, сзади, из бензиновой гари, вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула – человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом и весь тряся, прижимая локти.

– С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий! – бодро крикнул он хриплым голосом, живо подхватил брошенный кем-то двугривенный и салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней царапнули его черные свирепые глаза.

Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, – такая была усталость.

Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце... «Боже мой, что за ужас был только что?!» Было так страшно, что она едва не

заплакала, когда же собралась с духом, – оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна.

После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда действительно вела суровую, трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки (утром решено было носить только нитяные), пудрить руки и плечи, перечесываться. «Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются». Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского.

Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет», – кликнула Великого Могола, которая появилась с бензином и горячей водой.

Платье отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать». И, конечно, в театр опоздали.

Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Я люблю вас, люблю вас», – и держал ее за руку. И хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит и не любит, на объятие ответила русалочьим хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись – дело его жизни, и первое действие окончилось.

В ложе появились знакомые, и начался обычный торопливо-приподнятый разговор.

Маленький Шейнберг, с голым черепом и бритым измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает.

– Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно наконец покончить с этим проклятым вопросом.

На это ответил угрюмый, большой Буров, следователь по особо важным делам, – либерал, у которого на рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни:

– Как для кого – для меня вопрос решенный. Женщина лжет самым фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос – просто мерзость, а искусство – один из видов уголовного преступления.

Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно:

– Птице пришло время нести яйца, – самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок – тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык; ложь сугубая и отвратительная – так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено, Вещи, загадочные для барышень в нежном возрасте только, – он покосился на Дашу, – в наше время – полнейшего отупения – этой чепухой занимаются серьезные люди. Да-с, Российское государство страдает засорением желудка.

Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, ничего не выбрал и поднял к глазам морской бинокль, висевший у него на ремешке через шею.

Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал.

– Кошмар, кошмар, – быстро проговорил Шейнберг.

Николай Иванович ударил себя по коленке:

– Революция, господа, революция нужна нам немедленно. Иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, – он понизил голос, – на заводах очень неспокойно.

Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух.

– Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать.

– Доживем, Яков Александрович, доживем, – проговорил Николай Иванович весело, – и вам портфельчик вручим министра юстиции, ваше превосходительство.

Даше надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфелях. Облокотясь о бархат ложи и другою рукою обняв Катю за талию, она глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды – нежные мужские и злые женские, – и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.

– Катюша, я тебя люблю, – шепотом проговорила Даша.

– И я.

– Ты рада, что я у тебя живу?

– Очень.

Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе. И вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу и давно уже исподлобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, – как рожь.

Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хор муз». Даша сказала сестре:

– Катя, это и есть Телегин.

– Вижу, очень милый.

– Поцеловала бы, до чего мил. И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша.

– Вот, Даша...

– Что?

Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце, – у себя, в улиточьем доме, было неблагополучно: на минуту забылась, а заглянула опять туда – тревожно-темно.

Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать.

Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись, девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канитель на три акта.

Даша подняла глаза к плафону зала, – там среди облаков летела прекрасная полуобнаженная женщина с радостной и ясной улыбкой. «Боже, до чего похожа на меня», – подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы само собою случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится. «И жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное – ложь. Просто – нужно быть честной».

С этого вечера Даша не раздумывала более. Она знала теперь, что пойдет к Бессонову, и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу в Самару, но подумала, что полторы тысячи верст не спасут от искушения, и махнула рукой.

Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со «вторым человеком», когда ему помогало все на свете. И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго

страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся до последней капельки наполнена им, вся в нем.

Даша теперь нарочно гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое – гимназическое – платье, привезенное еще из Самары, с тоской упрямо зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко. Даша просто трусила.

В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась с островов пешком.

Дома она сказала, что идет на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям, переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чем и не торопилась.

Было спокойно на душе, и всю ее, словно до костей, пропитал весенний солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой. По широкому проспекту Каменноостровского крупной рысью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку.

Здесь было совсем тихо и пустынно. Зеленело небо над крышами. Из каждого дома, из-за опущенных занавесей, раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот – знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка.

И у Даши, насквозь пронизанной звуками, тоже все пело и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым.

Она свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка – «А. Бессонов», сильно позвонила.

7

Швейцар в ресторане «Вена», снимая с Бессонова пальто, сказал многозначительно:

– Алексей Алексеевич, вас ждут.

– Кто?

– Особа женского пола.

– Кто именно?

– Нам неизвестная.

Бессонов, глядя пустыми глазами поверх голов, прошел в дальний угол переполненного ресторанного зала. Лоскуткин – метрдотель, повиснув у него за плечом седыми бакенбардами, сообщил о необыкновенном бараньем седле.

– Есть не хочу, – сказал Бессонов, – дадите белого вина, моего.

Он сидел строго и прямо, положив руки на скатерть. В этот час, в этом месте, как обычно, нашло на него привычное состояние мрачного вдохновения. Все впечатления дня сплелись в стройную и осмысленную форму, и в нем, в глубине, волнуемой завыванием румынских скрипок, запахами женских духов, духотой людного зала, – возникала тень этой вошедшей извне формы, и эта тень была – вдохновение. Он чувствовал, что каким-то внутренним, слепым осязанием постигает таинственный смысл вещей и слов.

Бессонов поднимал стакан и пил вино, не разжимая зубов. Сердце медленно билось. Было невыразимо приятно чувствовать всего себя, пронизанного звуками и голосами.

Напротив, у столика под зеркалом, ужинали Сапозков, Антошка Арнольдов и Елизавета Киевна. Она вчера написала Бессонову длинное письмо, назначив здесь свидание, и сейчас сидела красная и взволнованная. На ней было платье из полосатой материи, черной с желтым, и такой же бант в волосах. Когда вошел Бессонов, ей стало душно.

– Будьте осторожны, – прошептал ей Арнольдов и показал сразу все свои гнилые и золотые зубы, – он бросил актрису, сейчас без женщины и опасен, как тигр.

Елизавета Киевна засмеялась, тряхнула полосатым бантом и пошла между столиками к Бессонову. На нее оглядывались, усмехались.

За последнее время жизнь Елизаветы Киевны складывалась совсем уныло, – день за днем без дела, без надежды на лучшее, – словом – тоска. Телегин явно невзлюбил ее, обращался вежливо, но разговоров и встреч наедине избегал. Она же с отчаянием чувствовала, что он-то именно ей и нужен. Когда в прихожей раздавался его голос, Елизавета Киевна пронзительно глядела на дверь. Он шел по коридору, как всегда, на цыпочках. Она ждала, сердце останавливалось, дверь расплывалась в глазах, но он опять проходил мимо. Хоть бы постучал, попросил спичек.

На днях, назло Жирову, с кошачьей осторожностью ругавшему все на свете, она купила книгу Бессонова, разрежала ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофе, смяла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений... Телегинские жильцы возмутились. Сапозков назвал Бессонова грибом на разлагающемся теле буржуазии. У Жирова вздулась на лбу жила. Художник Валет разбил тарелку. Один Телегин остался безучастным. Тогда у нее произошел так называемый «момент самопровокации», она захохотала, ушла к себе, написала Бессонову восторженное, нелепое письмо с требованием свидания, вернулась в столовую и молча бросила письмо на стол. Жильцы прочли его вслух и долго совещались. Телегин сказал:

– Очень смело написано.

Тогда Елизавета Киевна отдала письмо кухарке, чтобы немедленно опустить в ящик, и почувствовала, что летит в пропасть.

Сейчас, подойдя к Бессонову, Елизавета Киевна проговорила бойко:

– Я вам писала. Вы пришли. Спасибо.

И сейчас же села напротив него, боком к столу, – нога на ногу, локоть на скатерть, – подперла подбородок и стала глядеть на Алексея Алексеевича нарисованными глазами. Он молчал. Лоскуткин подал второй стакан и налил вина Елизавете Киевне. Она сказала:

– Вы спросите, конечно, зачем я вас хотела видеть?

– Нет, этого я спрашивать не стану. Пейте вино.

– Вы правы, мне нечего рассказывать. Вы живете, Бессонов, а я нет. Мне просто – скучно.

– Чем вы занимаетесь?

– Ничем. – Она засмеялась и сейчас же залилась краской. – Сделаться кокеткой – скучно.

Ничего не делаю. Я жду, когда затрубят трубы, и – зарево... Вам странно?

– Кто вы такая?

Она не ответила, опустила голову и еще гуще залилась краской.

– Я – химера, – прошептала она.

Бессонов криво усмехнулся. «Дура, вот дура», – подумал он. Но у нее был такой милый девичий пробор в русых волосах, сильно открытые полные плечи ее казались такими непорочными, что Бессонов усмехнулся еще раз – добрее, вытянул стакан вина сквозь зубы, и вдруг ему захотелось напустить на эту простодушную девушку черного дыма своей фантазии. Он заговорил, что на Россию опускается ночь для совершения страшного возмездия. Он чувствует это по тайным и зловещим знакам:

– Вы видели, – по городу расклеен плакат: хохочущий дьявол летит на автомобильной шине вниз по гигантской лестнице... Вы понимаете, что это означает?..

Елизавета Киевна глядела в ледяные его глаза, на женственный рот, на поднятые тонкие брови и на то, как слегка дрожали его пальцы, державшие стакан, и как он пил, – жаждая, медленно. Голова ее упоительно кружилась. Издали Сапожков начал делать ей знаки. Внезапно Бессонов обернулся и спросил, нахмурясь:

– Кто эти люди?

– Это – мои друзья.

– Мне не нравятся их знаки.

Тогда Елизавета Киевна проговорила, не думая:

– Пойдемте в другое место, хотите?

Бессонов взглянул на нее пристально. Глаза ее слегка косили, рот слабо усмехался, на висках выступили капельки пота. И вдруг он почувствовал жадность к этой здоровой близорукой девушке, взял ее большую и горячую руку, лежавшую на столе, и сказал:

– Или уходите сейчас же... Или молчите... Едем. Так нужно...

Елизавета Киевна только вздохнула коротко, щеки ее побледнели. Она не чувствовала, как поднялась, как взяла Бессонова под руку, как они прошли между столиками. И когда сели на извозчика, даже ветер не охладил ее пылающей кожи. Пролетка тарыхтела по камням. Бессонов, опираясь о трость обеими руками и положив на них подбородок, говорил:

– Мне тридцать пять лет, но жизнь окончена. Меня не обманывает больше любовь. Что может быть грустнее, когда увидишь вдруг, что рыцарский конь – деревянная лошадка? И вот еще много, много времени нужно тащиться по этой жизни, как труп... – Он обернулся, губа его приподнялась с усмешкой. – Видно, и мне, вместе с вами, нужно подождать, когда затрубят иерихонские трубы. Хорошо, если бы на этом кладбище вдруг раздалось тра-та-та! И – зарево по всему небу... Да, пожалуй, вы правы...

Они подъехали к загородной гостинице. Заспанный половой повел их по длинному коридору в единственный оставшийся незанятым номер. Это была низкая комната с красными обоями, в трещинах и пятнах. У стены, под выпцветшим балдахином, стояла большая кровать, в ногах ее – жестяной рукомойник. Пахло непрветренной сыростью и табачным перегаром. Елизавета Киевна, стоя в дверях, спросила чуть слышно:

– Зачем вы привезли меня сюда?

– Нет, нет, здесь нам будет хорошо, – поспешно ответил Бессонов.

Он снял с нее пальто и шляпу и положил на сломанное креслице. Половой принес бутылку шампанского, мелких яблочков и кисть винограда с пробковыми опилками, заглянул в рукомойник и скрылся все так же хмуро.

Елизавета Киевна отогнула штору на окне, – там среди мокрого пустыря горел газовый фонарь и ехали огромные бочки с согнувшимися под рогожами людьми на козлах. Она усмехнулась, подошла к зеркалу и стала поправлять себе волосы какими-то новыми, незнакомыми самой себе движениями. «Завтра опомнюсь, – сойду с ума», – подумала она спокойно и расправила полосатый бант. Бессонов спросил:

– Вина хотите?

– Да, хочу.

Она села на диван, он опустился у ее ног на коврик и проговорил в раздумье:

– У вас страшные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза. Вы любите меня?

Тогда она опять растерялась, но сейчас же подумала: «Нет. Это и есть безумие». Взяла из его рук стакан, полный вина, и выпила, и сейчас же голова медленно закружилась, словно опрокидываясь.

– Я вас боюсь и, должно быть, возненавижу, – сказала Елизавета Киевна, прислушиваясь, как словно издалека звучат ее и не ее слова. – Не смотрите так на меня, мне стыдно.

– Вы странная девушка.

– Бессонов, вы очень опасный человек. Я ведь из раскольников семьи, я в дьявола верю... Ах, боже мой, не смотрите же так на меня. Я знаю, зачем я вам понадобилась... Я вас боюсь.

Она громко засмеялась, все тело ее задрожало от смеха, и в руках расплескалось вино из стакана. Бессонов опустил ей в колени лицо.

– Любите меня... Умоляю, любите меня, – проговорил он отчаянным голосом, словно в ней было сейчас все его спасение. – Мне тяжело... Мне страшно... Мне страшно одному... Любите, любите меня...

Елизавета Киевна положила руку ему на голову, закрыла глаза.

Он говорил, что каждую ночь находит на него ужас смерти. Он должен чувствовать около себя близко, рядом живого человека, который бы жалел его, согревал, отдавал бы ему себя. Это наказание, муки... «Да, да, знаю... Но я весь околел. Сердце остановилось. Согрейте меня. Мне так мало нужно. Сжальтесь, я погибаю. Не оставляйте меня одного. Милая, милая девушка...»

Елизавета Киевна молчала, испуганная и взволнованная. Бессонов целовал ее ладони все более долгими поцелуями. Стал целовать большие и сильные ее ноги. Она крепче зажмурилась, показалось, что остановилось сердце, – так было стыдно.

И вдруг ее всю обвеял огонек. Бессонов стал казаться милым и несчастным... Она приподняла его голову и крепко, жадно поцеловала в губы. После этого уже без стыда поспешно разделась и легла в постель.

Когда Бессонов заснул, положив голову на ее голое плечо, Елизавета Киевна еще долго вглядывалась близорукими глазами в его желтовато-бледное лицо, все в усталых морщинках – на висках, под веками, у сжатого рта: чужое, но теперь навек родное лицо.

Глядеть на спящего было так тяжело, что Елизавета Киевна заплакала.

Ей казалось, что Бессонов проснется, увидит ее в постели, толстую, некрасивую, с распухшими глазами, и постарается поскорее отвязаться, что никогда никто не сможет ее полюбить, и все будут уверены, будто она развратная, глупая и пошлая женщина, и она нарочно станет делать все, чтобы так думали: что она любит одного человека, а сошлась с другим, и так всегда ее жизнь будет полна муты, мусора, отчаянных оскорблений. Елизавета Киевна осто-

рожно всхлипывала и вытирала глаза углом простыни. И так, незаметно, в слезах, забылась сном.

Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. Ни с чем не сравнимой кабацкой тоской гудело все тело. Было противно подумать, что нужно начинать заново день. Он долго рассматривал металлический шарик кровати, затем решил и поглядел налево. Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.

«Кто такая?» Он напряг мутную, память, но ничего не вспомнил, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил: «Вот так черт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно».

– Вы, кажется, проснулись, – проговорил он вкрадчивым голосом, – доброе утро. – Она помолчала, не отнимая локтя. – Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. – Он поморщился, все это выходило пошловато. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать – каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Он отодвинулся. Кажется, ее звали Маргарита. Он сказал грустно:

– Маргарита, вы сердитесь на меня?

Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же вспомнил и почувствовал братскую нежность.

– Меня зовут не Маргарита, а Елизавета Киевна, – сказала она. – Я вас ненавижу. Слезьте с постели.

Бессонов сейчас же вылез из-под одеяла и за пологом кровати около вонючего рукомойника оделся кое-как, затем поднял штору и загасил электричество.

– Есть минуты, которых не забывают, – пробормотал он.

Елизавета Киевна продолжала следить за ним темными глазами. Когда он присел с папирской на диван, она проговорила медленно:

– Приеду домой – отравлюсь.

– Я не понимаю вашего настроения, Елизавета Киевна.

– Ну, и не понимайте. Убирайтесь из комнаты, я хочу одеваться.

Бессонов вышел в коридор, где пахло угаром и сильно сквозило. Ждать пришлось долго. Он сидел на подоконнике и курил; потом пошел в самый конец коридора, где из маленькой кухоньки слышались негромкие голоса полового и двух горничных, – они пили чай, и половой говорил:

– Заладила про свою деревню. Тоже Расея. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Расея. Все сволочи. Сволочи и охальники.

– Выражайтесь поаккуратнее, Кузьма Иванович.

– Если я при этих номерах восемнадцать лет состою, – значит, могу выражаться.

Бессонов вернулся обратно. Дверь в его номер была открыта, комната была пуста. На полу валялась его шляпа.

«Ну, что же, тем лучше», – подумал он и, зевнув, потянулся, расправляя кости.

Так начался новый день. Он отличался от вчерашнего тем, что с утра сильный ветер разорвал дождевые облака, погнал их на север и там свалил в огромные побелевшие груды. Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились, жарились, валялись без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, – насморки, кашли, дурные хвори, меланхолические палочки чахотки, и даже полумистические микробы черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов. По улицам продувал ветерок. В домах протирали стекла, открывали окна. Дворники в синих рубашках подметали мостовые. На Невском порочные девочки с зелеными личиками предлагали прохожим букетики подснежников, пахнущих дешевым одеколоном. В магазинах спешно убрали все зимнее, и, как первые цветы, появились за витринами весенние, веселенькие вещи.

Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует русская весна». И несколько стишков были весьма двусмысленны. Словом, цензуре натянули нос.

И, наконец, по городу, под свист и улюлюканье мальчишек, прошли футуристы от группы «Центральная станция». Их было трое: Жиров, художник Валет и никому тогда еще не известный Аркадий Семисветов, огромного роста парень с лошадиным лицом.

Футуристы были одеты в короткие, без пояса, кофты из оранжевого бархата с черными зигзагами и в цилиндры. У каждого был монокль, и на щеке нарисованы – рыба, стрела и буква «Р». Часам к пяти пристав Литейной части задержал их и на извозчике повез в участок для выяснения личности.

Весь город был на улицах. По Морской, по набережным и Каменноостровскому двигались сверкающие экипажи и потоки людей. Многим, очень многим казалось, что сегодня должно случиться что-то необыкновенное: либо в Зимнем дворце подпишут какой-нибудь манифест, либо взорвут бомбой совет министров, либо вообще где-нибудь «начнется».

Но опустились синие сумерки на город, зажглись огни вдоль улиц и каналов, отразившись зыбкими иглами в черной воде, и с мостов Невы был виден за трубами судостроительных заводов огромный закат, дымный и облачный. И ничего не случилось. Блеснула в последний раз игла на Петропавловской крепости, и день кончился.

Бессонов много и хорошо работал в этот день. Освеженный после завтрака сном, он долго читал Гете, и чтение возбудило его и взволновало.

Он ходил вдоль книжных шкафов и думал вслух; подсаживался к письменному столу и записывал слова и строки. Старушка нянька, жившая при его холостой квартире, принесла фарфоровый, дымящийся моккой кофейник.

Бессонов переживал хорошие минуты. Он писал о том, что опускается ночь на Россию, раздвигается занавес трагедии, и народ-богоносец чудесно, как в «Страшной мести» казак, превращается в богоборца, надевает страшную личину. Готовится всенародное совершение Черной обедни. Бездна раскрыта. Спасения нет.

Закрывая глаза, он представлял пустынные поля, кресты на курганах, разметанные ветром кровли и вдалеке, за холмами, зарева пожаров. Обхватив обеими руками голову, он думал, что любит именно такую эту страну, которую знал только по книгам и картинкам. Лоб его покрывался глубокими морщинками, сердце было полно ужаса предчувствий. Потом, держа в пальцах дымящуюся папиросу, он исписывал крупным почерком хрустящие четвертушки бумаги.

В сумерки, не зажигая огня, Бессонов прилег на диван, весь еще взволнованный, с горячей головой и влажными руками. На этом кончался его рабочий день.

Понемногу сердце стало биться ровнее и спокойнее. Теперь надо было подумать, как провести этот вечер и ночь. Брр... Никто не звонил по телефону и не приходил в гости. Придется одному справляться с бесом уныния. Наверху, где жила английская семья, играли на рояле, и от этой музыки поднимались смутные и невозможные желания.

Вдруг в тишине дома раздался звонок с парадного. Нянька прошлепала туфлями. Заносчивый женский голос проговорил:

– Я хочу его видеть.

Затем легкие, стремительные шаги замерли у двери. Бессонов, не шевелясь, усмехнулся. Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошла, освещенная сзади из прихожей, стройная, тоненькая девушка, в большой шляпе с дыбом стоящими ромашками.

Ничего не различая со света, она остановилась посреди комнаты; когда же Бессонов молча поднялся с дивана, – попятилась было, но упрямо тряхнула головой и проговорила тем же высоким голосом:

– Я пришла к вам по очень важному делу.

Бессонов подошел к столу и повернул выключатель. Между книг и рукописей засветился синий абажур, наполнивший всю комнату спокойным полусветом.

– Чем могу быть полезен? – спросил Алексей Алексеевич; показав вошедшей на стул, сам спокойно опустился в рабочее кресло и положил руки на подлокотники. Лицо его было прозрачно-бледное, с синевой под веками. Он не спеша поднял глаза на гостью и вздрогнул, пальцы его затрепетали.

– Дарья Дмитриевна, – проговорил он тихо. – Я вас не узнал в первую минуту.

Даша села на стул решительно, так же, как и вошла, сложила на коленях руки в лайковых перчатках и насупилась.

– Дарья Дмитриевна, я счастлив, что вы посетили меня. Это большой, большой подарок. Не слушая его, Даша сказала:

– Вы, пожалуйста, не подумайте, что я ваша поклонница. Некоторые ваши стихи мне нравятся, другие не нравятся, – не понимаю их, просто не люблю. Я пришла вовсе не затем, чтобы разговаривать о стихах... Я пришла потому, что вы меня измучили.

Она низко нагнула голову, и Бессонов увидел, что у нее покраснели шея и руки между перчатками и рукавами черного платья. Он молчал, не шевелился.

– Вам до меня, конечно, нет никакого дела. И я бы тоже очень хотела, чтобы мне было все равно. Но вот, видите, приходится испытывать очень неприятные минуты...

Она быстро подняла голову и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил ресницы.

– Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо сказать. Сегодня – решилась. Вот, видите, объяснилась в любви...

Губы ее дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену, где, освещенная снизу, усмехалась стиснутым ртом и закрытыми веками любимая в то время всеми поэтами маска Петра Первого. Наверху, в семействе английского пастора, четыре голоса фуги пели: «Умрем». «Нет, мы улетим». «В хрустальное небо». «В вечную, вечную радость».

– Если вы станете уверять, что испытываете тоже ко мне какие-то чувства, я уйду сию минуту, – торопливо и горячо проговорила Даша. – Вы меня даже не можете уважать – это ясно. Так не поступают женщины. Но я ничего не хочу и не прошу от вас. Мне нужно было только сказать, что я вас люблю мучительно и очень сильно... Я разрушилась вся от этого чувства... У меня даже гордости не осталось...

И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти». Но продолжала сидеть, глядя на усмехающуюся маску. Ею овладела такая слабость, что – не поднять руки, и она почувствовала теперь все свое тело, его тяжесть и теплоту. «Отвечай же, отвечай», – думала она сквозь сон. Бессонов прикрыл ладонью лицо и стал говорить тихо, как беседуют в церкви, – немного придушенно.

– Всем моим духом я могу только благодарить вас за это чувство. Таких минут, такого благоухания, каким вы меня овеяли, не забывают никогда...

– Не требуется, чтобы вы их помнили, – сказала Даша сквозь зубы.

Бессонов помолчал, поднялся и, отойдя, прислонился спиной к книжному шкафу.

– Дарья Дмитриевна, я вам могу только поклониться низко. Я недостойн был слушать вас. Я никогда, быть может, так не проклинал себя, как в эту минуту. Растратил, размотал, изжил всего себя. Чем я вам отвечу? Приглашением за город, в гостиницу? Дарья Дмитриевна, я честен с вами. Мне нечем любить. Несколько лет назад я бы поверил, что могу еще испытать вечной молодости. Я бы вас не отпустил от себя.

Даша чувствовала, как он впускает в нее иголки. В его словах была затягивающая мука...

– Теперь я только расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. Протянуть руку и взять...

– Нет, нет, – быстро прошептала Даша.

– Нет, да. И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. За этим вы и пришли ко мне. Расплескать чашу девичьего вина... Вы принесли ее мне...

Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо.

– Дарья Дмитриевна, позвольте мне быть откровенным. Вы так похожи на вашу сестру, что в первую минуту...

– Что? – крикнула Даша. – Что вы сказали?

Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так истолковал это волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри вдыхали благоухание духов и тот почти неуловимый, но оглушающий и различный для каждого запах женской кожи.

– Это сумасшествие... Я знаю... Я не могу... – прошептал он, отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побежала. На пороге оглянулась дикими глазами и скрылась. Сильно хлопнула парадная дверь. Бессонов медленно подошел к столу и застучал ногтями по хрустальной коробочке, беря папиросу. Потом сжал ладонью глаза и со всей ужасающей силой воображения почувствовал, что Белый орден, готовящийся к решительной борьбе, послал к нему эту пылкую, нежную и соблазнительную девушку, чтобы привлечь его, обратить и спасти. Но он уже безнадежно в руках Черных, и теперь спасения нет. Медленно, как яд, текущий в крови, разжигали его неуголенная жадность и сожаление.

8

– Даша, это ты? Можно. Войди.

Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даше она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повертываться, переступая на ковре тугими туфельками. На ней было легкое белье, в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи напудрены, волосы причесаны пышной короной. Около, на низеньком столике, стояла чашка с горячей водой; повсюду – ножницы для ногтей, пилочки, карандашики, пуховки. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна «чистила перышки», как это называлось дома.

– Понимаешь, – говорила она, пристегивая чулок, – теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот – новый, от мадам Дюклэ. Живот гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится?

– Нет, не нравится, – ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки. Екатерина Дмитриевна удивленно подняла брови:

– Правда, не нравится? Какая досада. А в нем так удобно.

– Что удобно, Катя?

– Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как все-таки странно, – почему не нравится?

И она опять повернулась и правым и левым боком у зеркала. Даша сказала:

– Ты, пожалуйста, не у меня спрашивай, как нравятся твои корсеты.

– Ну, Николай Иванович совсем в этом деле ничего не понимает.

– Николай Иванович тоже тут ни при чем.

– Даша, ты что?

Екатерина Дмитриевна даже приоткрыла рот от изумления. Только теперь она заметила, что Даша едва сдерживается, говорит сквозь зубы, на щеках у нее горячие пятна.

– Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала.

– Но должна же я привести себя в порядок.

– Для кого?

– Что ты, в самом деле!.. Для самой себя.

– Врешь.

Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за ее движениями, затем проговорила:

– Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно.

Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, что у нее по горлу несколько раз прокатился клубочек, точно она проглотила что-то.

– Даша, ты что-нибудь узнала? – спросила она тихо.

– Я сейчас была у Бессонова. (Екатерина Дмитриевна взглянула невидящими глазами и вдруг страшно побледнела, подняла плечи.) Можешь не беспокоиться, – со мной там ничего не случилось. Он вовремя сообщил мне...

Даша переступала с ноги на ногу.

– Я давно догадывалась, что ты... именно с ним... Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить... Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю... Пойди к мужу и все расскажи.

Даша не могла больше говорить, – сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склоненной головы.

– Сейчас пойти? – спросила Катя.

– Да. Сию минуту... Ты сама должна понять...

Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери.

Там, замедлив, она сказала еще:

– Я не могу, Даша. – Но Даша молчала. – Хорошо, я скажу.

Николай Иванович сидел в гостиной и, поскребывая в бороде костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала «Русские записки».

Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался. Когда вошла жена, он воскликнул:

– Катюша, сядь. Послушай, что он пишет, вот это место... «Даже не в образе мыслей и не в преданности до конца своему делу обаяние этого человека – то есть Бакунина, – а в том пафосе претворенных в реальную жизнь идей, которым было проникнуто каждое его движение, – и бессонные беседы с Прудоном, и мужество, с каким он бросался в самое пламя борьбы, и даже тот романтический жест, когда мимоездом он наводит пушки австрийских повстанцев, еще не зная хорошо, с кем и за что они дерутся. Пафос Бакунина есть прообраз той могучей силы, с какою выступят на борьбу новые классы. Материализация идей – вот задача наступающего века. Не извлечение их из-под груды фактов, подчиненных слепой инерции жизни, не увод их в идеальный мир, а процесс обратный: завоевание физического мира миром идей. Реальность – груда горячего, идеи – искры. Эти два мира, разъединенные и враждебные, должны слиться в пламени мирового переворота...» Нет, подумай, Катюша... Ведь это черным по белому – да здравствует революция. Молодец, Акундин! Действительно, живем, – ни больших идей, ни больших чувств. Правительством руководит только одно – безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опивается. – Ведь мы только болтаем, болтаем, Катюша, и – по уши в болоте. Народ – заживо разлагается. Вся Россия погрязла в сифилисе и водке. Россия сгнила, дунь на нее – рассыплется в прах. Так жить нельзя... Нам нужно какое-то самосожжение, очищение в огне...

Николай Иванович говорил возбужденным и бархатным голосом, глаза его стали круглыми, нож полосовал воздух. Екатерина Дмитриевна стояла около, держась за спинку кресла. Когда он выговорился и опять принялся разрезать журнал, – она подошла и положила ему руку на волосы:

– Коленька, тебе будет очень больно то, что я скажу. Я хотела скрыть, но вышло так, что нужно сказать...

Николай Иванович освободил голову от ее руки и внимательно взгляделся:

– Да, я слушаю, Катя.

– Помнишь, мы как-то с тобой повздорили, и я тебе сказала со зла, чтобы ты не был очень спокоен на мой счет... А потом отрицала это...

– Да, помню. – Он положил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретясь с простым и спокойным взглядом Кати, забегали от испуга.

– Так вот... Я тебе тогда солгала... Я была тебе неверна...

Он жалобно сморщился, стараясь улыбнуться. У него пересохло во рту. Когда молчать уже дольше было нельзя, он проговорил глухо:

– Ты хорошо сделала, что сказала... Спасибо, Катя...

Тогда она взяла его руку, прикоснулась к ней губами и прижала к груди. Но рука выскользнула, и она ее не удерживала. Потом Екатерина Дмитриевна тихо опустилась на ковер и положила голову на кожаный выступ кресла:

– Больше тебе не нужно ничего говорить?

– Нет. Уйди, Катя.

Она поднялась и вышла. В дверях столовой на нее неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала, целуя в волосы, в шею, в уши:

– Прости, прости!.. Ты дивная, ты изумительная!.. Я все слышала... Простишь ты меня, простишь ты меня, Катя?.. Катя?..

Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала:

– Я исполнила твое приказание, Даша.

– Катя, простишь ты меня когда-нибудь?

– Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло.

– Ничего я не была права! Я от злости... Я от злости... А теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты – права, я это чувствую, ты права во всем. Прости меня, Катя.

У Даши катились крупные, как горох, слезы. Она стояла позади, на шаг от сестры, и говорила громким шепотом:

– Если ты не простишь, – я больше не хочу жить.

Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней:

– Что ты еще хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно... Так я тебе скажу... Я потому лгала и молчала, что только этим можно было про-длить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем... А вот теперь – конец. Поняла? Я Николая Ивановича давно не люблю и давно ему неверна. А Николай Иванович любит меня или не любит – не знаю, но он мне не близок. Поняла? А ты, как зяблик, все голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что – слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась сбе-речь тебя, запретила Бессонову приезжать к нам... Это было еще до того, как он... Ну, все равно... Теперь всему этому конец...

Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страха похолодела спина. В дверях, из-за портьеры, боком, появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной.

– Бессонов? – спросил он, с улыбкой покачивая головой.

И продвинулся в столовую.

Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках ее выступили пятна, глаза высохли. Она стиснула рот.

– Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен. Напрасно.

Он продолжал улыбаться:

– Даша, оставь нас одних, пожалуйста.

– Нет, я не уйду. – И Даша стала рядом с сестрой.

– Нет, ты уйдешь, если я тебя попрошу.

– Нет, не уйду.

– В таком случае мне придется удалиться из дома.

– Удаляйся, – глядя на него с яростью, ответила Даша.

Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее выражение – веселенького сумасшествия.

– Тем лучше, оставайся. Вот в чем дело, Катя... Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо... Я пришел к выводу, что мне нужно тебя убить... Да, да.

При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив ее обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы:

– У тебя истерика... Тебе нужно принять валерьянку, Николай Иванович...

– Нет, Катя, на этот раз – не истерика...

– Тогда делай то, за чем пришел, – крикнула она, оттолкнув Дашу, и подошла к Николаю Ивановичу вплоть. – Ну, делай. В лицо тебе говорю – я тебя не люблю.

Он попятился, положил на скатерть вытащенный из-за спины маленький, «дамский» револьвер, запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошел к двери. Катя глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил:

– Мне больно... Мне больно...

Тогда она кинулась к нему, схватила его за плечи, повернула к себе его лицо:

– Врешь... Ведь врешь... Ведь ты и сейчас врешь...

Но он замотал головой и ушел. Екатерина Дмитриевна присела у стола:

– Вот, Дашенька, – сцена из третьего акта, с выстрелом. Я уеду от него.

– Катюша... Господь с тобой.

– Уйду, не хочу так жить. Через пять лет стану старая, будет уже поздно. Не могу больше жить так... Гадость, гадость!

Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол. Даша, присев рядом, быстро и осторожно целовала ее в плечо. Екатерина Дмитриевна подняла голову:

– Ты думаешь – мне его не жалко? Мне всегда его жалко. Но ты вот подумай, – пойду сейчас к нему, и будет у нас длиннейший разговор, насквозь фальшивый... Точно бес какой-то всегда между нами кривит, фальшивит. Все равно как играть на расстроенном рояле, так и с Николаем Ивановичем разговаривать... Нет, я уеду... Ах, Дашенька, если бы ты знала, какая у меня тоска!

К концу вечера Екатерина Дмитриевна все же пошла в кабинет.

Разговор с мужем был долгий, говорили оба тихо и горестно, старались быть честными, не щадили друг друга, и все же у обоих осталось такое чувство, что ничего этим разговором не достигнуто, и не понято, и не спяно.

Николай Иванович, оставшись один, до рассвета сидел у стола и вздыхал. За эти часы, как впоследствии узнала Катя, он продумал и пересмотрел всю свою жизнь. Результатом было огромное письмо жене, которое кончалось так: «Да, Катя, мы все в нравственном тупике. За последние пять лет у меня не было ни одного сильного чувства, ни одного крупного движения. Даже любовь к тебе и женитьба прошли точно впопыхах. Существование – мелкое, полуистерическое; под непрерывным наркозом. Выходов два – или покончить с собой, или разорвать эту лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моем сознании душевную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии...»

Семейное несчастье произошло так внезапно и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе ей и в голову не приходило; какие уже там девичьи настроения, – чепуха, страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей.

Несколько раз на дню Даша подходила к Катиной двери и скреблась пальцем. Катя отвечала:

– Дашенька, если можешь, оставь меня одну, пожалуйста.

Николай Иванович в эти дни должен был выступить в суде. Он уезжал рано, завтракал и обедал в ресторане, возвращался ночью. Его речь в защиту жены акцизного чиновника Ладникова, Зои Ивановны, зарезавшей ночью, в постели, на Гороховой улице, своего любовника, сына петербургского домовладельца, студента Шлиппе, потрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая, Зоя Ивановна, билась головой о спинку скамейки и была оправдана.

Николай Иванович, бледный, с провалившимися глазами, был окружен при выходе из суда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он приехал домой и объяснился с Катей с полной душевной размягченностью.

У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы двенадцать тысяч. Сам же он, тоже во время разговора, решил передать дела помощнику и поехать в Крым – отдохнуть и собраться с мыслями.

В сущности, было неясно и неопределенно – разъезжаются ли они на время или навсегда и кто кого покидает? Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда.

О Даше они забыли. Екатерина Дмитриевна спохватилась только в последнюю минуту, когда, одетая в серый дорожный костюм, в изящной шапочке, под вуалькой, похудевшая, грустная и милая, увидела Дашу в прихожей на сундуке. Даша болтала ногой и ела хлеб с мармеладом, потому что сегодня обед заказать забыли.

– Родной мой, Данюша, – говорила Екатерина Дмитриевна, целуя ее через вуальку, – ты-то как же? Хочешь, поедem со мной.

Но Даша сказала, что останется одна в квартире с Великим Моголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на все лето к отцу.

9

Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными и вещи в них – лишними. Даже кубические картины в гостиной с отъездом хозяев перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры. И хотя Великий Могол каждое утро молча, как привидение, бродила по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом.

В комнате сестры можно было, как по книге, прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот в углу маленький мольбертик с начатой картиночкой, – девушка в белом венке и с глазами в пол-лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделиями, пестрыми лоскутками, все не окончено и заброшено, – тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу, – видно, что начали прибирать и бросили. И повсюду брошены, засунуты наполовину разрезанные книги. Йоги, популярны лекции по антропософии, стихи, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь! На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: «Рубашек 24, лифчиков 8, лифчиков кружевных 6... Для Керенских билеты на «Дядю Ваню»...» И затем, крупным детским почерком: «Даше купить яблочный торт».

Даша вспомнила – яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, оберечь себя от дробления и разрушения, но нечем и некому было помочь.

Даша вставала рано, садилась за книги и сдавала экзамены, почти все – «отлично». К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала Великого Могола, которая отвечала неизменно: «Господа уехали, барышня подойти не могут».

Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала ее, как прежде, не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательно сердце. Теперь, сидя строго и мирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечками, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот пустынный дом.

Иногда среди музыки являлись маленькие враги – непрошенные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор, за шкафы и картонки... Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова. Ополоумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело! Будто один свет в окошке – любовные настроения, и любви-то никакой не было.

Часов в одиннадцать Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать, – все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь – самой зарабатывать и взять Катю к себе.

В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером, прямо с железной дорога, она села на белый, ярко освещенный среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины.

Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойки жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучовую шторм, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного

берега, где под свежееобвалившейся, в корнях и комьях, невысокой кручей стояли возы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые, с толстыми коленками, ноги, пил коричневый жеребенок. На круче красным крестом торчала маячная вежа.

Даша соскочила с койки, развернула на полу тэб и, набрав полную губку воды, выжала ее на себя. Стало до того свежо и боязно, что она, смеясь, начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку, – все это сидело на ней ловко, – и, чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу.

По всему белому пароходу играли жидкие отсветы солнца, на воду больно было смотреть, – река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористом, белела, по пояс в берегах, старенькая колокольня.

Когда пароход отчалил и, описав полукруг, побежал вниз, навстречу ему медленно двигались берега. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами, и от них в небесно-желтоватую бездну реки падали белые тени.

Даша сидела в плетеном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено, и чувствовала, как сияющие изгибы реки, облака и белые их отражения, березовые холмы, луга и струи воздуха, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и пылью, текут сквозь нее, – и тихим восторгом ширится сердце.

Какой-то человек медленно подошел, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даша несколько раз забывала про него, а он все стоял. Тогда она твердо решила не оборачиваться, но у нее был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание. Она покраснела и быстро, гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась, – он ей напомнил что-то неопределенно веселое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий, в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из всего этого речного покоя. Она протянула ему руку. Телегин сказал:

– Я видел, как вы садились на пароход. В сущности, мы ехали с вами в одном вагоне от Петербурга. Но я не решался подойти, – вы были очень озабочены... Я вам не мешаю?

– Садитесь, – она пододвинула ему плетеное кресло, – еду к отцу, а вы куда?

– Я-то, в сущности говоря, еще не знаю. Пока – в Кинешму, к родным.

Телегин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутой, пенящейся дорогой выбегавшую из-под парохода. Над ней за кормой летели острокрылые мартины, падали на воду, взлетали с хриплыми, жалобными криками и, далеко отстав, кружились и дрались над плывущей хлебной коркой.

– Приятный день, Дарья Дмитриевна.

– Такой день, Иван Ильич, такой день! Я сижу и думаю: как из ада на волю вырвалась! Помните наш разговор на улице?

– Помню до последнего слова, Дарья Дмитриевна.

– После этого такое началось, не дай бог! Я вам как-нибудь расскажу. – Она задумчиво покачала головой. – Вы были единственным человеком, который не сходил с ума в Петербурге, так мне представляется. – Она улыбнулась и положила ему руку на рукав. У Ивана Ильича испуганно дрогнули, веки, поджались губы. – Я вам очень доверяю, Иван Ильич. Вы очень сильный? Правда?

– Ну, какой же я сильный.

– И верный человек. – Даша почувствовала, что все мысли ее – добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить – выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. –

Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно. А если чего-нибудь захотите, то не отступитесь.

Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту.

– Вот этому киньте, – сказала Даша, – смотрите, какой голодный.

Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный головастый мартын скользнул на недвигающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся, и сейчас же штук десять их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной бьющейся из-под борта. Даша сказала:

– Мне хочется быть, знаете, какой женщиной? На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич.

Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и наконец раскрыл рот, с крепким, чистым рядом крупных зубов, и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, но и у нее запрыгал подбородок, и не хотела, а рассмеялась, так же как Телегин, сама не зная чему.

– Дарья Дмитриевна, – проговорил он наконец, – вы замечательная... Я вас боялся до смерти... Но вы прямо замечательная!

– Ну, вот что – идемте завтракать, – сказала Даша сердито.

– С удовольствием.

Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок.

– Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?

– Немного выпью с удовольствием.

– Белого или красного?

Даша так же деловито ответила:

– Или то, или другое.

– В таком случае – выпьем шипучего.

Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми – ржи и розоватыми – зацветающей гречихи. За поворотом, над глинистым обрывом, на навозе, под шапками соломы, стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше – десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу – низкий кустарник и коршуны над ним.

Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в гра-
нених больших рюмках казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу, – у него есть свое дело, уверенность в жизни, а вот ей еще полтора года корпеть над книгами, и притом такое несчастье, что она – женщина. Телегин, смеясь, ответил:

– А меня ведь с завода выгнали.

– Что вы говорите!

– В двадцать четыре часа, чтобы духу не было. Иначе, зачем бы я на пароходе оказался. Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?

– Нет, нет...

– Я-то вот дешево отделался. Да... – Он помолчал, положив локти на скатерть. – Вот, подите же, до чего у нас все делается глупо и бездарно – на редкость. И черт знает какая слава о нас идет, о русских. Обидно и совестно. Подумайте, – талантливый народ, богатейшая страна, а какая видимость? Видимость: наглая писарская рожа. Вместо жизни – бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться

при Петре Первом, так до сих пор не можем остановиться. И ведь оказывается, кровавая вещь – чернила, представьте себе.

Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать все дальнейшее.

– Ну, да что вспоминать. Думать надо, что и у нас когда-нибудь хорошо будет, не хуже, чем у людей.

Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило оттого, что они разговаривали шифром. Слова, самые обычные, таинственно и непонятно получали двойной смысл, и когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню, с отдувающимся за спиной лиловым шарфом, и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад», – нужно было понимать: «Если бы у нас с вами что-нибудь случилось – было бы совсем не так». Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил, но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его; Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее раз в тысячу.

Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала; солнце грело колени, ветер касался щеки, плеч, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами. Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик – тогда расскажу».

Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом.

Про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И, хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение – не шулер ли это? Вообще его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сои в яви и, почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался – хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стриженной девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала!

В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты и, прощаясь в дверях, сказала, зевая:

– Покойной ночи. Смотрите присматривайте за шулером-то.

Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, читал сочинения Дюма-отца, поглядел на него некоторое время, подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер, затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши, на цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, как боль в сердце, радостью.

В седьмом часу утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», – подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую некстати подоспевшую Кинешму на крутом и высоком берегу, с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как нагороженными домишками и яркими по-утреннему, желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над возами, тянущимися по городскому спуску. Матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина.

– Нет, нет, я передумал, назад несите, – взволнованно проговорил ему Иван Ильич, – я, видите ли, до Нижнего решил ехать. В Кинешму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте, под койку. Благодарю вас, голубчик.

В каюте Иван Ильич просидел часа три, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок, и было ясно, что объяснить невозможно: ни соврать, ни сказать правду.

В одиннадцатом часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе, – руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, – словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубу и не найдя Даши, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте, в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу, глаза ее расширились, точно от испуга, залились радостью, на щеки взошел румянец, груша пока-тилась с колен.

– Вы здесь? Не слезли? – проговорила она тихо.

Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом:

– Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в Кинешме.

– Как я посмотрю на ваш поступок? Ну, этого я не скажу. – Даша засмеялась и неожиданно, так что у Ивана Ильича снова на весь день, сильнее вчерашнего, пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку просто и нежно.

10

На самом деле на механическом заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувшийся ветренными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной, угольно-железной грязью, какую бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном.

Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря вполголоса:

– От Центрального Комитета... Прочтите, товарищи.

Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки.

Когда человек в резиновом плаще rozdal почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился сторож и, проговорив поспешно: «Погоди-ка», – схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и побежал. Раздался резкий свисток, в ответ издали заверещал другой. По редющей толпе прошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез.

Дня через два на механическом заводе, неожиданно для администрации, с утра не стал на работу слесарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные.

По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно поглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали дальнейших указаний.

Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу пошел слух, что кого-то убили. В девять часов на заводской двор, как буря, влетел огромный лимузин главного инженера.

Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холода и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько.

В литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в литейную пятнадцать лет тому назад простым чернорабочим, а теперь – старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне доволен беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро.

Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения: мы оба стоим на одной работе, значит – товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы – враги, но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом.

К одному из горнов, стуча спускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, один – черный с проседью и в круглых очках, другой – с кудрявой бородой, со светлыми, повязанными ремешком волосами, голубоглазый и атлетически сильный, принялись: один – ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой – наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской.

– Стоп, – сказал Орешников, – снижай.

Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зеленые звезды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью приторно-сладкой меди.

В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом.

– Кончай работу... Снимайся! – крикнул он отрывистым, жестким голосом и покосился на Телегина. – Слышали? Али нет?

– Слышали, слышали, не кричи, – ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке: – Дмитрий, не спи, вытравливай.

– Ну, слышали – понимаете сами, второй раз просить не станем, – сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел.

Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую козлиную бородку и сказал, бегая глазами:

– Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода, об этом молодцы эти думают али нет?

– Этих делов ты бы лучше не касался, Василий Степаныч, – ответил Орешников густым голосом.

– То есть это как же – не касаться?

– Так это наша каша. Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза прыгнешь. По этому случаю – молчи.

– Из-за чего забастовка? – спросил наконец Телегин. – Какие требования?..

Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил:

– Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них шестьдесят станков перевели на сдельную работу, для пробы. Ну, вот и получается, что недорабатывают, сверхурочные часы приходится выстаивать. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит, требования разные, небольшие.

Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза:

– Орешников, как бы штука-то эта у нас не перестоялась, а?

Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный добротный пиджак и проговорил густым, наполненным всю мастерскую басом:

– Снимайтесь, товарищи. Приходите в шестой корпус, к средним дверям.

И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло, – раздался срывающийся на визг исступленный голос:

– Пишешь?.. Пишешь, сукин сын?.. На, записывай меня!.. Доноси начальству!.. – Это кричал на Пунько формовщик, Алексей Носов; изможденное, давно не бритое лицо его, с провалившимися мутными глазами, прыгало и перекашивалось, на тонкой шее надулась жила; крича, он бил черным кулаком в край конторки: – Кровопийцы!.. Мучители!.. Найдем и на вас ножик!..

Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу стих. Мастерская опустела.

К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что беспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом.

Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им придется обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие, администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. И в это время по телефону из министерства внутренних дел получили приказ: отказать стачечному комитету во всех требованиях и, впредь до особого распоряжения, ни в какие разговоры с ним не вступать.

Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было скорее мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Наконец на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра.

Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, почесал в затылке и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе. Но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложенные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать.

На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидел, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей.

Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто, на него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжают аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими теперь, – уже политические, что весь заводской двор полон казаками, и, говорят, был дан приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Обуховский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке.

Иван Ильич решил пробраться в контору – узнать новости, но с величайшим трудом протиснулся только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека, в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, сыты и, должно быть, ловки драться и зубоскалить.

«Да, эти мужики стесняться не станут», – подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя дерзкими глазами, сказал:

– Куда? Осади!

– Мне нужно пройти в контору, я инженер.

– Осади, говорят!

Тогда из толпы послышались голоса:

– Нехристи! Опричники!

– Мало вами нашей крови пролито!

– Черти сытые! Помещики!

В это время в первые ряды протиснулся низенький прыщавый юноша с большим и кричимым носом, в огромном, не по росту, пальто и неловко надетой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая слабой рукой, он заговорил, картавя:

– Товарищи казаки! Разве мы не все русские? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев. Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским. Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен. Мы хотим уничтожить произвол...

Казак, поджав губы, презрительно оглядел с головы до ног молодого человека, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом.

– Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали.

Тогда первый, очевидно, придумав ответ, крикнул курчавому юноше:

– Братя, братя... Штаны-то подтяни, потеряешь.

И оба казака засмеялись.

Иван Ильич отодвинулся от ворот, движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Он попытался было взобраться туда и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегину он кивнул бровями и сказал басом:

– Вот дела-то хороши, Иван Ильич.

– Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится?

– А мы покричим малое время, да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот этой разве луковицей кинуть – убить двоих.

В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос:

– Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись.

Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал:

– Третий раз честью просят.

– Кто это говорит?

– Есаул.

– Товарищи, товарищи, не расходитесь, – слышался взволнованный голос, и сзади Ивана Ильича на гору чугунного лома вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе, с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле.

– Товарищи, ни в коем случае не расходиться, – зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками, – нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника.

– Bravo! – завопил чей-то испуганный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди.

Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетало: «революция, революция».

Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно-радостным возбуждением. Взобравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина, – он был в очках, в кепке с большим козырьком и в черной накидке. К нему протиснулся господин с дрожащими губами, в котелке. Телегин слышал, как он сказал Акундину:

– Идите, Иван Аввакумович, вас ждут.

– Я не приду, – коротко, зло ответил Акундин.

– Собрался весь комитет. Без вас, Иван Аввакумович, не хотят принимать решения.

– Я остаюсь при особом мнении, это известно.

– Вы с ума сошли. Вы видите, что делается. Я вам говорю, с минуты на минуту начнется расстрел... – У господина в котелке запрыгали губы.

– Во-первых, не кричите, – проговорил Акундин, – ступайте и выносите компромиссное решение. Я в провокации не участвую...

– Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то! – проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое – короткая фраза и кивок головы – произошло с другим рабочим.

Но в это время в толпе предостерегающе, закричали, и вдруг раздались три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина, И придушенный голос, точно по-нарочному, затянул: «а-а-а». Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой йогами грязи лежал ничком, с подогнутыми к животу коленями, казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо». Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы – один, два и залп, – и, мягко осев на колени, повалился навзничь Орешников.

Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех, наговорил резкостей администрации и подписал отставку.

11

Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого, валившего паром самовара и читал местную газету – «Самарский листок». Когда папирота догорала до ваты, доктор брал из толсто набитого портсигара новую, закуривал ее об окуроч, кашлял, весь багровея, и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай, сыпал пепел на газету, на рубаху, на скатерть.

Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги и в столовую вошла Даша в накинутом на рубашку халатике, все еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло.

– Опять ветер, – сказала она. Действительно, второй день дул сильный горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые, колючие облака пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиной к ним поворачивались редкие прохожие. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем, хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхла железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей.

– Эпидемия глазных заболеваний. Недурно, – сказал Дмитрий Степанович. Даша вздохнула.

Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегиным, проводившим ее в конце концов до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, ей незнакомой, пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе.

Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот – прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд, волнений, людской пестроты, – от шумного Петербурга, – остались только вот эти пыльные облака.

– Эрцгерцога убили, – сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету.

– Какого?

– То есть как – какого? Австрийского эрцгерцога убили в Сараеве.

– Он был молодой?

– Не знаю. Налей-ка еще стакан.

Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахара, – он пил всегда вприкуску, – и насмешливо оглядел Дашу.

– Скажи на милость, – спросил он, поднимая блюдечко, – Екатерина окончательно разошлась с мужем?

– Я же тебе рассказывала, папа.

– Ну, ну....

И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. Какое уныние! И она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, – синее небо, река, чистая палуба, и все, все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь – широкая, медленно извинаяся река, и пароход «Федор Достоевский», вместе с Дашей и Телегиным, вольются, войдут в синее, без берегов, море света и радости – счастье.

И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему спешить, когда каждая минута этого пути без того была хороша, и все равно они приплывут к счастью.

Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся, перестал шутить. Даша думала – плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд, такой, точно сильного, веселого человека переехали

колесом. Ей было жалко его, но что она могла поделать, как допустить его до себя, хотя бы немножко, если тогда – она это понимала – сразу начнется то, что должно было случиться в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороге нетерпеливо разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ему же казалось, что он оскорбит Дашу, если хоть словом наекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь, и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и непрерывающая боль в сердце.

В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Дашино сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезло, рассыпалось, поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами.

– А зададут австрияки трепку этим самым сербам, – сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. – Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?

Даша, стоя у окна, пожала плечами.

– Обедать приедешь? – с тоской спросила она.

– Ни под каким видом. У меня скарлатина-с на Постниковой даче.

Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучовый пиджак, осмотрел по карманам – все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы.

– Ну, так как же все-таки насчет славянского вопроса, а?

– Ей-богу, не знаю, папа. Что ты в самом деле пристаешь ко мне.

– А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. – Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. – Славянский вопрос, – ты слушаешь меня? – это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело? – ты хочешь меня спросить. Изволь. – И он стал загибать толстые пальцы: – Первое, славян более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики... Второе, – славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, – мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому всеславянскому союзу. Четвертое, – самое главное, – славяне представляют морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип «богоискателя». И «богоискательство», – ты слушаешь меня, кошка? – есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу бога, то есть правды, – в самом себе. Для этого я должен быть абсолютно свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи.

– Папочка, поезжай на дачу, – сказала Даша уныло.

– Нет, ищи правду там. – Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок.

– Даша, поди отвори.

– Не могу, я раздета.

– Матрена! – закричал Дмитрий Степанович. – Ах, баба проклятая. – И сам пошел открывать парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо.

– От Катюшки, – сказал он. – Подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу... Так вот, – «богоискательство» прежде всего начинается с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает... Попробуй, выйди вечером на главную улицу – только и слышно – орут: «Карауул!» По улице шатаются горчишники, озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята – без всяких признаков морали – «богоискатели». Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать

во всем государстве Российском. А в целом народ переживает первый фазис «богоискательства» – разрушение основ.

Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из пальцев Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверями, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашеными полами, затем уехал на дачу.

«Данюша, милая, – писала Катя, – до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде шифон. Париж очень красив. И все решительно, – вот бы тебе посмотреть, – весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд – встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русских, все наши знакомые: каждый день собираемся где-нибудь, точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок будто бы с одной женщиной. Она – вдова, у нее двое детей и третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале. А потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького... Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж, – рожай, слышишь».

Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком, и села писать ответ, прописала его до обеда, обедала одна, – так, только пощипала что-то, – затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскивала длиннейший какой-то роман, легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый; сели ужинать, отец на все вопросы отвечал «угу»; Даша выведала: оказывается – скарлатинный больной, мальчик трех лет, умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах.

Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное – вымытое.

Утром, как Даше встать, зашел к ней старый знакомый, Семен Семенович Говядин, земский статистик – худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной; он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом:

– Я за вами, женщина. Едем на Волгу.

Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным», – взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристани, где стояли лодки.

Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках: вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно.

– Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха, – наставительно заметил Семен Семенович, – а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой.

И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь: другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед:

– Филипп, вот бы нам такую.

И другой ответил с набитым ртом:

– Чиста очень. Возни много.

По широкой желтоватой реке в зыбких солнечных отсветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин; попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот.

– Спорт – великая вещь, – сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду.

– Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна, – в городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?

– Нет, неправда.

Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть: «Эх, да вниз по матушке по Волге», – но застыдился и со всей силой ударил в весла.

Навстречу проплыла лодка, полная народу. Три мешчанки в зеленых и пунцовых кашемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку, третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу:

– Сворачивай с дороги, шляпа, тудыть твою душу. – И они с криком и руганью проплыли совсем близко.

Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак.

– Хотя я городской житель, но искренне люблю природу, – сказал он, прищурясь, – особенно когда ее дополняет фигура девушки, в этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу.

И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирая платком лицо, и говорил:

– Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок.

Наконец песок кончился, пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага над водой рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в другое озерцо – круглое. На берегу его росли старые липы и корявая сосна с одной, отставленной, как рука, веткой. Дальше, по узкой гривке, цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синела небом, зеленела отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусте прыгали, однообразно посвистывая, две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, уронив руки на колени, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами, – почему вам так грустно, хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса».

– Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна, – проговорил Говядин, – позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности?..

– Говорите, мне все равно, – ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который исподтишка поглядывал на ее белые чулки.

– Вы гордая, смелая девушка. Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни...

– Предположим, – сказала Даша.

– Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты!

– Предположим, что я не хочу сдерживать свои красивые инстинкты, – тогда что? – спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться.

Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марье Давыдовне. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих, детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает, и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно, и она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарьянскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом.

– Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать, у него – овладеть ее телом, – покашляв, проговорил наконец Семен Семенович. – Я вас зову быть честной, открытой. Загляните в глубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности.

– А у меня сейчас никакого желания не горит, что это значит? – спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой, в бледном цветке шиповника, в желтой пылице ворочалась пчела. А покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы, в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, – оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться.

– Кажется, у вас забрался песок в туфельки. Позвольте, я вытряхну, – проговорил Семен Семенович каким-то особенным, глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке.

– Вы – негодяй, – сказала она, – я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек.

Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на Говядина, пошла к реке.

«Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса, – куда писать, – думала она, спускаясь с обрыва, – не то в Кинешму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с Говядиным. Ах, боже мой». Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате: «Представь себе, кажется, я полюбила, так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила вполголоса: «Милый, милый, милый Иван Ильич».

В это время неподалеку раздался голос: «Не полезу и не полезу, пусти, юбку оборвешь». По колена в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно, молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла: «Пусти, юбку оборвешь».

Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, – стиснуло горло от омерзения и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежал запыхавшийся Говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу.

После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем началась обида на Телегина, точно он был виноват во всем этом унынии пыльного, раскаленного солнцем провинциального города с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки: «Рыбы воблой, рыбы», – но остановится около нее и понюхает рыбу какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес; когда со двора издалика дунайской, сосущей скукой заиграет шарманка.

Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места, хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом: «Жить хочу, жить!»

Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромнен и застенчив: не ей же, Даше, в самом деле, говорить: «Понимаете, что люблю». Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю провалился, а может быть, даже и думать забыл.

И в прибавление ко всему этому унынию в одну из знойных, как в печке, черных ночей Даша увидела сон, тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала:

«Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной затхлости. И потом – я не помню, писала ли я тебе, – меня вот уже сколько времени преследует один человек. Выхожу из дому, – он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, – он по пути выпрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, – точно мне провели рукой по спине, – оборачиваюсь – неподалеку сидит он. Худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит...»

Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за газетой сказал между прочим:

– Кошка, поезжай в Крым.

– Зачем?

– Разущи этого Николая Ивановича и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж, к жене. А впрочем, как хочет... Это их частное дело...

Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась: Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развевающийся на голове шарф, и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей.

Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович.

12

В это лето в Крыму был необычайный наплыв приезжих с севера. По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катармами и бронхитами, и шумные, растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью, и черноглазые киевляне, не знающие различия гласных «о» и «а», и презирующие эту российскую суету богатые сибиряки; жарились и обгорали дочерна молодые женщины, и голенастые юноши, священники, чиновники, почтенные и семейные люди, живущие, как и все тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей.

В середине лета от соленой воды, жара и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах.

В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. Здесь все казалось легким и возможным. А какова будет расплата потом, на севере, в скучной квартире, когда за окнами дождь, а в прихожей трещит телефон и все кому-то чем-то обязаны, — стоит ли думать о расплате. Морская вода с мягким шорохом подходит к берегу, касается ног, и вытянутому телу на песке, закинутым рукам и закрытым векам — легко, горячо, сладко. Все, все, даже самое опасное, — легко и сладко.

Нынешним летом легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.

По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неопишуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы.

Даша подъезжала к Евпатории после полудня. Незадолго до города, с дороги, пыльной белой лентой бегущей по ровной степи, мимо солончаков, ометов соломы, она увидела против солнца большой деревянный корабль. Он медленно двигался в полуверсте, по степи, среди полыни, сверху донизу покрытый черными, поставленными боком, парусами. Это было до того удивительно, что Даша ахнула. Сидевший рядом с ней в автомобиле армянин сказал, засмеявшись: «Сейчас море увидишь».

Автомобиль повернул мимо квадратных запруд солеварен на песчаную возвышенность, и с нее открылось море. Оно лежало будто выше земли, темно-синее, покрытое белыми длинными жгутами пены. Веселый ветер засвистел в ушах. Даша стиснула на коленях кожаный чемоданчик и подумала: «Вот оно. Начинается».

В это же время Николай Иванович Смоковников сидел в павильоне, вынесенном на столбах в море, и пил кофе с любовником-резонером. Подходили после обеденного отдыха дачники, садились за столики, перекликались, говорили о пользе йодистого лечения, о морском купанье и женщинах. В павильоне было прохладно. Ветром трепало края белых скатертей и женские шарфы. Мимо прошла однопарусная яхта, и оттуда что-то весело кричали. Толпой появились и заняли большой стол москвичи, все — мировые знаменитости. Любовник-резонер поморщился при виде их и продолжал рассказывать содержание драмы, которую задумал написать.

— У меня глубоко продумана вся тема, но написан только первый акт, — говорил он, вдумчиво и благородно глядя в лицо Николаю Ивановичу. — У тебя светлая голова, Коля, ты поймешь мою идею: красивая молодая женщина тоскует, томится, кругом нее пошлость. Хорошие

люди, но жизнь засосала, – гнилые чувства и пьянство. Словом, ты понимаешь... И вдруг она говорит: «Я должна уйти, порвать с этой жизнью, уйти туда, куда-то к светлому...» А тут – муж и друг... Оба страдают... Коля, ты пойми, – жизнь засосала... Она уходит, я не говорю, к кому, – любовника нет, все на настроении... И вот двое мужчин сидят в кабаке молча и пьют... Глотают слезы с коньяком... А ветер в каминной трубе завывает, хоронит их... Грустно... Пусто... Темно...

– Ты хочешь знать мое мнение? – спросил Николай Иванович.

– Да. Ты только скажи: «Миша, брось писать, брось», – и я брошу.

– Пьеса твоя замечательная. Это – сама жизнь. – Николай Иванович, закрыв глаза, помотал головой. – Да, Миша, мы не умели ценить своего счастья, и оно ушло, и вот мы – без надежды, без воли – сидим и пьем. И воет ветер над нашим кладбищем... Твоя пьеса меня чрезвычайно волнует...

У любовника-резонера задрожали мешочки под глазами, он потянулся и крепко поцеловал Николая Ивановича, затем налил по рюмочке. Они чокнулись, положили локти на стол и продолжали душевную беседу.

– Коля, – говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника, – а знаешь ли ты, что я любил твою жену, как бога?

– Да. Мне это казалось.

– Я мучился, Коля, но ты был мне другом... Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога... Но я приходил опять и разыгрывал шута... И ты, Николай, не смеешь ее винить. – Он вытянул губы свирепо.

– Миша, она жестоко поступила со мною.

– Может быть... Но мы все перед ней виноваты... Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, – как ты, живя с такой женщиной, – прости меня, – путался в то же время с какой-то вдовой – Софьей Ивановной. Зачем?

– Это сложный вопрос.

– Лжешь. Я ее видел, обыкновенная курица.

– Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно... Софья Ивановна была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно... На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил.

– Коля, но неужели – вот мы вернемся в Петербург, вот настанет вторник, и я приеду к вам после спектакля... И твой дом пуст... Как мне жить? Слушай... Где жена сейчас?

– В Париже.

– Переписываешься?

– Нет.

– Поезжай в Париж. Поедем вместе.

– Бесполезно...

– Коля, выпьем за ее здоровье.

– Выпьем.

В павильоне, между столиками, появилась актриса Чародеева, в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая, как змея, с синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, – так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хор муз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя.

– Изумительная женщина, – проговорил Николай Иванович сквозь зубы.

– Нет, Коля, нет, Чародеева – просто падаль. В чем дело?... Жила три месяца с Бессоновым, на концертах мяукает декадентские стихи... Смотри, смотри, – рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это – гиена.

Все же, когда Чародеева, кивая шляпкой направо и налево, улыбаясь большим ртом с розовыми губами, приблизилась к столу, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком.

– Милая... Ниночка... Какой туалет!.. Не хочу, не хочу... Мне прописан глубокий покой, родная моя...

Чародеева потрепала костлявой рукой его щеку, сморщила нос.

– А что болтал вчера про меня в ресторане?

– Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка!

– Да еще как!

– Честное слово, меня оклеветали.

Чародеева со смехом положила мизинчик ему на губы: «Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться». И уже другим голосом, из какой-то воображаемой светской пьесы, обратилась к Николаю Ивановичу:

– Сейчас проходила мимо вашей комнаты: к нам приехала, кажется, родственница, – прелестная девушка.

Николай Иванович быстро взглянул на друга; затем взял с блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода.

– Это неожиданно, – сказал он, – что бы это могло означать?.. Бегу. – Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись...

– Даша, ты зачем? Что случилось? – спросил он, притворяя за собой дверь. Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно:

– Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла два письма от Кати. Вот. Прочти, пожалуйста.

Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась.

– Ты завтракала? – вдруг спросил он. – Если голодна – пойдем в павильон.

Тогда она подумала: «Разлюбил ее совсем», – обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить до завтра.

По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?» – он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели.

– Представь, за месяц купанья на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его внутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас, мужчин, еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти две трети тела. Мы с этим решительно начали бороться... В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу.

Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями раковин. Неподалеку, там, где на отмель набегали и разбивались кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках.

– Наши адептки, – сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство не то возбуждения, не то беспокойства. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль.

Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки, и это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша при-

села и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной замочило руки выше локтя.

– Какая-то с тобой перемена, – проговорил Николай Иванович, прищурясь, – не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора.

Даша обернулась, взглянула на него странно, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой.

Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским; любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя: «Боже мой, как хороша!» – и подводил знакомить каких-то юношей – учеников драматической студии, говоривших придурными голосами, точно на исповеди. Николай Иванович был польщен таким успехом «своей Дашурки».

Даша пила вино, смеялась, протягивала кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. «Это счастье», – думала она.

После купанья и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавеси окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шехерезады, висела над чешуйчатой дорогой через все море. Даша засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.